



С. МОЭМ

<«Судя по всему, бремя власти ему непосильно»>

Подлинный энтузиазм у собравшихся вызвал лишь Керенский¹. Любопытно было поглядеть на человека, за такое короткое время поднявшегося на вершину власти и славы; и тут я был вновь ошарашен: в Керенском не чувствуется силы, и это сразу бросается в глаза. Не возьму в толк, как его враги смогли угадать в нем наполеоновских масштабов замыслы. Он больше напоминает Сен-Жюста², чем Бонапарта³. Керенский сидел посередине царской ложи, председательствующий объявил его выступление, и он проследовал по центральному проходу на сцену. Одет он был в костюм защитного цвета, за ним шли два адъютанта. Он немного грузнее, чем мне представлялось, без бороды и усов, волосы острижены ежиком; но прежде всего я обратил внимание на его цвет лица. Кому не доводилось читать о том, как лицо героя позеленело от ужаса, и я всегда считал это вымыслом романистов. Но именно такой цвет лица был у Керенского. Он стремительно поднялся на сцену, обошел вокруг стола, где сидел президиум, и по очереди поздоровался с каждым из делегатов за руку. Рукопожатие у него быстрое, порывистое, с лица его при этом не сходило выражение тревоги. Вид у него был, как ни странно, загнанный. Он явно нервничал. Он переживал опасный момент — его в открытую обвиняли в пособничестве мятежу генерала Корнилова, и большевики — это совещание организовали они — относились к нему враждебно; было известно, что здесь может решиться его судьба, и, если экстремисты окажутся в большинстве, его, как предполагалось, заставят подать в отставку. Никто не знал, что он предпримет, но складывалось мнение, что в отставку он не подаст, а переведет правительство в Генеральный штаб и, отдав Петроград большевикам, будет править Россией, опираясь на армию. В начале

речи Керенский практически поставил вопрос о вотуме доверия. Он говорил около часа, свободно, не заглядывая ни в какие заметки, хотя его постоянно прерывали. Говорил с большим подъемом. Над оркестровой ямой пролегали мостки для прохода на сцену, и он то и дело сбегал по ним, пока не оказался чуть ли не среди слушателей, — можно было подумать, что он хочет обратиться к каждому из них лично. Он взывал к чувствам, не к разуму. Ему все чаще аплодировали, попытки же прервать его пресекались все более раздраженно. Люди, похоже, почувствовали, что перед ними искренний, прямодушный человек, и, если он и допускал ошибки, это были ошибки честного человека. Голос его красивым не назовешь, говорит он на одной ноте, без модуляций; в его ораторских приемах нет контрастов и, я бы сказал, ничего вдохновляющего. Воздействовал он лишь своей серьезностью и объективностью. Закончив речь, он быстро обошел стол, пожал руки делегатам и ушел в ложу под гром аплодисментов. В ответ на рукоплескания он, уже из ложи, сказал несколько слов и покинул театр. В этот день победа осталась за ним.

Керенский. Вид у него болезненный. Все знают, что он нездоров; он и сам, не без некоторой бравады, говорит, что жить ему осталось недолго. У него крупное лицо; кожа странного желтоватого оттенка, когда он нервничает, она зеленеет; черты лица недурны, глаза большие, очень живые; но вместе с тем он нехорош собой. Одет довольно необычно — на нем защитного цвета костюм, и не вполне военный, и не штатский, неприметный и унылый. Керенский стремительно вошел в комнату в сопровождении адъютанта, пожал мне руку — крепко, быстро, машинально. Он был до того взвинчен, что это даже пугало. Усевшись, он заговорил — и говорил без умолку, схватил портсигар, беспрестанно вертел его в руках, отпирал, запирали, открывал, закрывал, снова защелкивал, поворачивал то так, то сяк. Говорил торопливо, пылко, его взвинченность передалась и мне. Чувство юмора у него, как мне показалось, отсутствует, зато он непосредственно, совсем по-мальчишечьи любит розыгрыши. Один из его адъютантов — сердцеед, и ему часто звонят женщины по телефону, стоящему на столе Керенского. Керенский брал трубку, выдавал себя за адъютанта и бурно флиртовал с дамой на другом конце провода — это его очень забавляло. Подали чай, Керенскому предложили коньяку, и он уже было потянулся к рюмке, но адъютант запротестовал: спиртное Керенскому вредно, и я очень потешался, слушая, как он, точно избалованный ребенок, улещивал молодого человека, уговаривая разрешить ему хотя бы одну рюмочку. Он был

очень весел, много смеялся. Я так и не уразумел, благодаря каким свойствам он молниеносно вознесся на такую невероятную высоту. Разговор его не свидетельствовал не только о большой просвещенности, но и об обычной образованности. Я не почувствовал в нем особого обаяния. Не исходило от него и ощущения особой интеллектуальной или физической мощи. Однако поверить, что своему возвышению он обязан исключительно случаю и занял такое положение лишь потому, что никого другого не нашлось, невозможно. На протяжении беседы — он все говорил и говорил так, словно не в силах остановиться, — в нем постепенно проступило нечто жалкое; он пробудил во мне сострадание, и я подумал: уж не в том ли сила Керенского, что его хочется защитить; он чем-то располагал к себе и тем самым вызывал желание помочь; он обладал тем же свойством, которым в высшей степени был наделен Чарльз Фроман⁴, — умением пробуждать в окружающих желание расшибиться для него в лепешку.

Я не заметил в нем непомерного тщеславия, о котором так много говорили, напротив, мне показалось, что он держится просто, не позирует. Его искренность не вызывала во мне сомнений: я увидел в нем человека, который старается сделать все, что может, горящего бескорыстным желанием послужить не так отчизне, как соотечественникам. В России пылкость Керенского сослужила ему добрую службу — здесь любят непосредственное выражение чувств; у меня с моей английской сдержанностью это вызывало чувство неловкости. Меня коробило, когда его голос то и дело пресекался от волнения. Я конфузился от того, что такие благородные чувства выражаются в открытую. Но в этом и состоит одно из тех различий между русскими и англичанами, из-за которых мы никогда не сможем понять друг друга. В итоге он произвел на меня впечатление человека на пределе сил. Судя по всему, бремя власти ему непосильно. Это объясняет, почему он не способен ни на какие действия. Боязнь сделать неверный шаг перевешивает желание сделать верный шаг, и в результате он ничего не предпринимает до тех пор, пока его к этому не принуждают. И тогда к каким только увороткам он ни прибегает, чтобы не дай бог не понести ответственность за последствия этого шага.

